КЛАССИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

В. Э. ВАЦУРО

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

ДОМ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Публикуемые ниже стихотворные отклики на смерть Пушкина извлечены нами из нескольких рукописных источников, хранящихся в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома. Разнородные по своему характеру и породившей их литературно-общественной среде, они единичны и в исследовательском отношении «случайны» и, конечно, не в состоянии дать сколько-нибудь целостную картину борьбы различных социальных групп вокруг имени поэта. Тем не менее известные штрихи к такого рода картине они могут добавить и при всех своих индивидуальных различиях имеют нечто общее, что позволяет объединять их не только по тематическому признаку.

- Вадим Эразмович Вацуро
  - Из неизданных откликов на смерть Пушкина[1]
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - Приложение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40

Вадим Эразмович Вацуро

Из неизданных откликов на смерть Пушкина [1]

Публикуемые ниже стихотворные отклики на смерть Пушкина извлечены нами из нескольких рукописных источников, хранящихся в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома. Разнородные по своему характеру и породившей их литературно-общественной среде, они единичны и в исследовательском отношении «случайны» и, конечно, не в состоянии дать сколько-нибудь целостную картину борьбы различных социальных групп вокруг имени поэта. Тем не менее известные штрихи к такого рода картине они могут добавить и при всех своих индивидуальных различиях имеют нечто общее, что позволяет объединять их не только по тематическому признаку. Эта общность заключается прежде всего в том, что все стихи, о которых пойдет далее речь, написаны под свежим впечатлением гибели поэта людьми, либо хорошо его знавшими, либо живо заинтересованными его судьбой, и, таким образом, отражают настроения близкой Пушкину литературной или окололитературной среды. Далее: все эти стихи не увидели света при жизни их авторов. Почему это произошло — судить трудно; по-видимому, некоторые из них и не предназначались для печати, другие, может быть, не были пропущены. Известно, что по личному распоряжению С. С. Уварова все отклики на смерть Пушкина должны были проходить особую цензуру председателя цензурного комитета и самого министра[2]; при этом все отзывы о Пушкине, переходившие границы «строжайшей умеренности», запрещались. Так было запрещено к печати стихотворение А. С. Норова «Погас луч неба, светлый гений…»[3]. Как бы то ни было, по субъективным или объективным причинам, публикуемые стихи бесцензурны, и это также накладывает на них известный отпечаток: они не только откровенны в выражении своих симпатий к погибшему поэту, но и свободно включают в себя факты и интерпретации, не всегда уместные в печати и представляющие, как мы увидим далее, самостоятельный исторический интерес.

1

Первое из публикуемых нами стихотворений принадлежит перу поэта, драматурга, романиста и критика Бориса Михайловича Федорова (1798–1875), старинного неприятеля Дельвига и Баратынского, присяжного памфлетиста журнала «Благонамеренный», в 1820-е годы — автора известных пародий на «союз поэтов». Эта принадлежность Федорова к враждебному литературному кружку предопределила во многом и то ироническое пренебрежение, с каким относился к Федорову Пушкин. Здесь не место прослеживать детали их личных и литературных взаимоотношений, небезынтересные сами по себе и не во всем еще ясные; укажем только, что Федоров, сохранивший литературную неприязнь к поэтам ближайшего пушкинского окружения, неизменно демонстрировал свою благожелательность по отношению к самому Пушкину[4]. В данном случае нам важны самые поздние эпизоды их общения, о которых рассказал книгопродавец И. Т. Лисенков: они встретились в его лавке за несколько дней до последней дуэли Пушкина и разговорились. «Два или три часа не могли расстаться, — вспоминал Лисенков, — и пробыли в моем магазине чуть не до полуночи, так что предложенный им мною чай не пожелали принять и с жаром друг с другом вели непрерывный интересный разговор обо всем литературном мире; при расставании же оба один другого приглашали на всегдашнее знакомство, а через три дня оказалось, что приглашению этому осуществиться должно за гробом <…> На другой же день публика была поражена известием о смертельной дуэли, и Борис Михайлович в тот же день явился ко мне со слезами на глазах для воспоминания о его знакомстве у меня, глубоко сожалея о потере знаменитого колоссального поэта, который через несколько дней вскоре и угас»[5]. Под этим впечатлением Федоров написал стихи, о которых нам известно по упоминанию в письме А. М. Языкова к С. Д. Комовскому от 2 марта 1837 г.: «Мы имеем на смерть Пушкина только стихи Лермонтова и Бориса Федорова»[6]. Текст этих стихов неизвестен; публикуемое нами стихотворение также не подходит под описание Языкова. Оно, конечно, написано несколько позже и является откликом не столько на самую гибель Пушкина, сколько на связанные с нею разговоры в петербургском обществе.

Федоров посвятил свои стихи княгине Зинаиде Ивановне Юсуповой, урожд. Нарышкиной (1809–1893), жене кн. Бориса Николаевича Юсупова (1794–1842). О связях Пушкина с этим

семейством мы знаем очень мало; тем ценнее для нас свидетельство Федорова, что Юсупова с жаром вступилась за «славу» Пушкина в петербургских салонах, заявив себя, таким образом, приверженцем «пушкинской партии». Семью Юсуповых Федоров знал близко; вдова старого князя Н. Б. Юсупова Татьяна Васильевна покровительствовала ему и поддерживала его материально; смерть ее в 1841 г. была для него тяжелым ударом[7]. В 1849 г. он посвящает специальную брошюру памяти кн. Б. Н. Юсупова[8]; знакомство же с его вдовой, З. И. Юсуповой, продолжает сохранять до самой смерти. В ее альбоме мы находим несколько стихотворений Федорова, самое позднее из которых датировано 1873 г. Федоров адресует стихи и самой хозяйке альбома, и ее второму мужу, графу Карлу де Шово, маркизу де Серр (Chauveau de Serre); он сочиняет даже целую балладу, прославляющую доблести рода де Шово[9]. В тот же альбом он вписывает и стихи, удостоверяющие привязанность автора и адресата памяти Пушкина. Поэтические их достоинства невысоки: это обычный галантный мадригал, построенный на парафразе основного мотива пушкинских стихов, адресованных А. П. Керн. В лирическом восторге Федоров потерял чувство меры, отведя Пушкину роль потенциального трубадура светской красавицы. Однако не эстетические промахи или достижения Федорова занимают нас сейчас. Его стихотворение есть своего рода исторический документ, который заставляет нас присмотреться внимательнее к другим материалам юсуповского альбома.

2

Муж З. И. Юсуповой, кн. Б. Н. Юсупов, был сыном того самого Н. Б. Юсупова, которому Пушкин посвятил свое послание «К вельможе». Как реагировали на это послание младшие члены семейства, мы не знаем, но, конечно, оно не прошло незамеченным. Лето 1830 г. Б. Н. Юсупов, гофмейстер двора, проводит в Царском Селе и близко общается, в частности, с Жуковским. В альбоме Юсуповой под датой «1 Août 1830. Soirée au cottage» мы находим автограф шуточных стихов Жуковского «Какое сходство и какая разница между Быком и Розою?»[10], с тою же подписью «Бык», какую Жуковский употреблял, например, в домашней переписке с А. О. Смирновой-Россет; отношения его с З. И. Юсуповой, известной красавицей петербургского света, уже в это время отличались, как видно, дружеской короткостью. В более поздние годы записи в альбом Юсуповой делают Вяземский, Крылов, Мятлев, И. И. Козлов, Соллогуб — весь круг пушкинских литературных друзей и знакомых. Юсупова коллекционировала автографы, и предметом ее желаний был автограф Пушкина. Она получила его уже после смерти поэта. Об этом мы знаем: из сохранившейся в альбоме весьма интересной неопубликованной записки Жуковского, которую мы приведем полностью.

> «J'ai l'honneur de vous envoyer, madame la princesse, un fragment écrit de la main de Pouchkine: c'est une sorte de biographie de son ami Delvig, qu'il n'a pas eu le tems de finir. J'ai voulu d'abord vous envoyer un conte en vers, mais il s'est trouvé que ce manuscript est inséré dans le régistre général et numéroté. Je ne puis pas en disposer. Le fragment ci-joint m'appartient en propre, je 1'ai trouvé dans mes papiers et je vous le cède avec plaisir. Je suis sûr à present que me con-serverai dans votre souvenir, car j'y serai fixé par le nom de Pouchkine.
>
> *Joukovsky»*[11].

Перевод:

> «Имею честь послать вам, княгиня, отрывок, писанный рукою Пушкина: это своего рода биография его друга Дельвига, которую он не имел времени закончить. Я хотел сначала послать вам сказку в стихах, но оказалось, что эта рукопись внесена в общий регистр

и пронумерована. Я не могу ею распоряжаться. Прилагаемый отрывок — моя собственность; я нашел его в своих бумагах и с удовольствием уступаю его вам. Теперь я уверен, что останусь в вашей памяти, ибо буду закреплен в ней именем Пушкина.

Жуковский».

Точно датировать эту записку затруднительно. Осенью 1839 — весной 1840 г. Жуковский занимался рукописями Пушкина, готовя к печати IX–XI тома посмертного собрания сочинений[12]. В XI томе этого собрания была напечатана неоконченная пушкинская статья «Дельвиг» (XI, 273–274), автограф которой, по-видимому, и был подарен Жуковским Юсуповой. Это был, конечно, беловой автограф на пяти листках, поступивший позднее из юсуповского собрания в Пушкинский Дом[13]. Другие заметки Пушкина о Дельвиге, также известные Жуковскому, — фрагмент из «Отрывков из писем, мыслей и замечаний», отрывок из воспоминаний («Я ехал с Вяземским…»), — во-первых, не подходят под понятие «биография», а во-вторых, имеют жандармские пометы; дальнейшая их судьба также не позволяет думать, что они побывали когда-либо в руках у Юсуповой. Мы можем предполагать, что Жуковский сделал свой подарок не ранее 1840 г., когда вышел из печати XI том «Сочинений Александра Пушкина» и автограф перестал быть необходимым для издания.

Он подарил его как реликвию, заменив им первоначально выбранную «сказку в стихах», которой не мог распоряжаться. Может быть, это была «Сказка о мертвой царевне…». Она действительно имела жандармские пометы (№ 16–21), но оставалась у Жуковского; этот автограф он, между прочим, также подарил — но позднее — Карлу Радовицу[14].

Таковы дополнительные сведения, дающие своего рода контекст первому из публикуемых нами стихотворений.

3

Второе стихотворение на смерть Пушкина, приводимое нами в приложении, менее интересно по своему бытовому и общественному контексту, но зато более значительно по содержанию. Автограф его наклеен на плотный лист бумаги; по формату и особенностям внешнего оформления это, несомненно, один из сохранившихся листов альбома Н. А. Марковича, в юные годы, да и позднее (в конце 1820-х годов) довольно близко общавшегося с Пушкиным и его кругом[15]. Автограф беловой; под ним стоят подпись «З-ий» и помета «Триест»[16]. Этих данных вместе с автобиографическими сведениями, содержащимися в стихотворении, достаточно, чтобы определить автора. Это Ефим Петрович Зайцевский (1801–1860), «поэтический спутник» Дениса Давыдова, моряк-поэт, попавший в поле зрения Пушкина в 1830 г., во время посещения Петербурга по пути на воды в Германию. Зайцевский имел заслуженную репутацию героя после штурма Варны, где он получил рану в руку разрывной пулей. 7 февраля 1830 г. О. М. Сомов писал В. Ф. Одоевскому: «Завтра вечером непременно буду у вас и приведу к вам интересного моряка Зайцевского»[17], а 10 февраля Пушкин уже печатает в «Литературной газете» поэтическое приветствие Зайцевскому Дениса Давыдова; эти стихи вызвали цензурную тяжбу, в которой Пушкин принял непосредственное участие. Через номер он печатает и ответ Зайцевского Давыдову[18]. Зайцевский уехал в мае 1830 г.; он посетил Германию, Швейцарию и Италию, в Женеве встречался с Шевыревым и Соболевским, с которым сохранял связи и позже. В Милане он свел знакомство с находившимися та м русскими семействами; судя по известиям о нем в переписке Соболевского, он вел за границей довольно свободную жизнь[19]. В марте 1834 г. он был в Петербурге и снова встречался с Пушкиным; вместе с ним, доктором С. Ф. Гаевским и В. Ф. Одоевским Зайцевский отклоняет приглашение участвовать в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, не желая мириться с редакторским диктатом Сенковского, о чем Пушкин сделал запись в своем дневнике под 2 апреля 1834 г. (XII, 323). Это, по-видимому, была их последняя встреча; известие о гибели Пушкина застало Зайцевского за границей.

Итальянский период жизни Зайцевского известен очень мало; высказывалось даже мнение, что он почти перестает писать. Между тем это не так. В конце 1830-х годов поэтическая деятельность его довольно интенсивна. В 1839 г., находясь в Риме и Неаполе, он пишет несколько стихотворений, навеянных

итальянскими впечатлениями, и поддерживает связи с русскими литераторами: с Д. И. Долгоруким, В. Ф. Одоевским и, по-видимому, с И. П. Мятлевым. Среди бумаг Д. И. Долгорукого сохранились хранящие след этих дружеских связей стихотворения Зайцевского; одно из них («Законы осуждают предмет моей любви», Неаполь, 1839) посвящено «И. П. Мятлеву и князю Д. И. Долгорукову»; другое («К перышку», Неаполь, 1839) имеет подзаголовок «Своевольное подражание поэту Мятлеву». Вероятно, с Мятлевым Зайцевский познакомился, когда тот путешествовал по Европе. Попытки его «в мятлевском роде», впрочем, были мало удачны. Больший интерес представляет третий текст, подаренный Зайцевским Долгорукову: это перевод терцинами стихов 1–36 популярной в русской литературе третьей песни «Ада» Данте («L'Inferno. C. III. Терцет по Данту»)[20], третий по времени перевод большого фрагмента знаменитой поэмы (после П. А. Катенина и А. С. Норова). Мы приведем этот отрывок, о котором, насколько нам известно, никаких упоминаний в литературе не было.

«К юдоли вечных слез проходят мною,
Проходят мной в обитель вечных мук,
Проходят мной к погибнувшим душою.

Правдив был труд меня создавших рук:
Я дело божества, любви начала
И вечной мудрости, ключу (*так*!) наук.

И до меня созданья не бывало,
Лишь вечность, и стою от века я:
За прагом сим отчаянье всех ждало».

Сии слова, как тучи в высях дня,
Темнели надписью над дверью ада.
Я вскрикнул: «Вождь, их смысл страшит меня».

Он молвил мне с прозорливостью взгляда:
«Сомнений здесь на сердце не читай,
Погибелью здесь мужества утрата.

Вступаем мы в поведанный мной Край,
Весь полный скорбных жертв и безответный
Для душ, утративших свой светлый рай».

Мне руку сжав и взор склоня приветный,

Он ободрил мой дух и укротил
И ввел меня в мир Тайны заповедный.

Здесь в воздухе без света и светил
Гремят проклятий крик, визг, плач, стенанья, —
И слез поток невольно я пролил.

Племен и Царств здесь слышалось рыданье,
Звучала бездна гулом голосов,
И с воплями слилось рукоплесканье.

Так дышит вихрь, взрывая грудь песков.
И я воззвал, весь полн недоумений:
«Кого карал так гнев и суд богов?».

Он рек: «Сей род презренный поколений —
Толпа; бесцветна их души печаль,
Без добродетелей, без преступлений,

Их жизнь пуста, их никому не жаль».

Этот отрывок наглядно показывает нам и уровень мастерства, и поэтическую ориентацию Зайцевского в конце 1830-х годов. Эпигон-романтик, он овладел поэтической фразеологией пушкинской эпохи и, конечно, не ошибался, когда в стихах памяти Пушкина объявлял его своим поэтическим учителем. Но он был учеником Пушкина в общем смысле: не столько последователь, сколько подражатель, он воспроизводил уже готовые формулы, пересказывая с их помощью оригинал; в отличие хотя бы от того же Катенина он не стремился отыскать общий стилистический ключ дантовской поэмы и дать ему русский эквивалент. У него нет индивидуального стиля: его поэтическая система эклектична, в ней слышатся отзвуки то сентиментальной и элегической, то «высокой», псалмодической поэзии. Наконец, самая интерпретация исходного текста типична для эпигонского романтизма: дантовские отверженные души для него «толпа», «чернь» — традиционное понятие массовой романтической лирики, варьирующей антитезу «поэт — толпа». В русском литературном сознании 1830-х годов этот общеромантический мотив также постоянно связывался с именем Пушкина.

Все эти стилистические тенденции нашли место и в поэтическом отклике Зайцевского на смерть Пушкина, где живые

черточки реального облика поэта, памятные автору по личным впечатлениям, наложились на образ вдохновленного свыше романтического «певца». Судя по тону и содержанию стихотворения, оно было непосредственным откликом на известие о гибели Пушкина. На эту мысль наводит, в частности, концовка стихотворения с несколько наивной угрозой «разрядить» в Дантеса пистолет. Неосуществимая мечта о «мщении» Дантесу (естественная, впрочем, для «моряка-солдата») спорадически возникала в обществе под влиянием первого потрясения: напомним о намерении Л. С. Пушкина вызвать Дантеса на дуэль и о распространившемся слухе, что то же самое собирался сделать Мицкевич[21].

Зайцевский прожил в Италии до конца жизни — почти тридцать лет, лишь изредка заезжая в Россию (например, в 1840–1841 гг.); с 1846 г. он состоял при русской дипломатической миссии в Неаполе. По-видимому, он стремился, насколько возможно, сохранить свои прежние связи. В бумагах С. А. Соболевского осталось несколько его писем за 1840-е годы[22]. В 1853 г. его видел в Венеции Вяземский, отметивший в своем дневнике: «Вечером был у Кассини и видел там Зайцевского, переселившего себя в Италию, когда, казалось бы, России почва совершенно по нем. В русской судьбе много таких странностей. Бедный Пушкин не выезжал из России, а Зайцевский не выезжает из Италии»[23]. С Кассини Зайцевского также связывало давнее знакомство: сохранилось письмо Зайцевского В. Ф. Одоевскому 1839 г. с просьбой взять под свое покровительство Кассини, русского консула в Триесте, отправляющегося в Петербург[24].

Эти связи, может быть, объясняют отчасти помету «Триест» под стихотворением Зайцевского. Когда Н. А. Маркович, некогда однокашник Соболевского, посетил во время своего заграничного путешествия Триест (это произошло в ноябре 1857 г.)[25], он, по-видимому, встретил там Зайцевского, и «бывший поэт» записал для его альбома свои старые стихи, которым придавал особое значение. Имя Пушкина в них было символичным: оно возникало как своего рода знак связи их автора с Россией, ее культурной традицией и даже как знак принадлежности его к поэтическому цеху. Впрочем, это лишь гипотеза, хотя, на наш взгляд, и наиболее вероятная; если же «Триест» обозначает не место записи, а место создания стихотворения, тогда нужно предполагать какие-то встречи Зайцевского с Марковичем в России, о которых до нас не дошло никаких сведений.

4

Если два первых стихотворения нашей публикации принадлежат перу профессиональных поэтов, то автор остальных стихов, по— видимому, дилетант. Личность его нам неизвестна. От него сохранилась тетрадь стихов 1837–1839 гг., как правило, в беловых автографах, подвергшихся затем небольшой правке. Поэтические достоинства большинства из них невысоки, хотя встречаются и стихи вполне профессиональные, на уровне массовой журнальной поэзии 1830-х годов («К черным глазам», 1837; «К картине „Петр Великий на Ладожском озере“», 1839). В печати они неизвестны, — во всяком случае ни одного из них нам не удалось обнаружить ни в периодических изданиях, ни в регистрах рукописей цензурного комитета за ближайшие годы. Из помет в рукописи и скудных автобиографических признаний в самих стихах явствует, что автор их был военным и в летние месяцы 1837–1838 гг. нес службу в Красном Селе, куда выезжали на лето в лагеря гвардейские части; что в 1839 г. он был в Бородине, где праздновался юбилей знаменитого сражения. Последняя дата стоит под стихотворением «К памятнику Бородинской битвы». Сам он, по-видимому, был выходцем из Новгородской губернии, о чем нам придется говорить несколько ниже. Никаких других биографических указаний в стихах нет.

Несколько больше мы узнаем о литературной и идеологической ориентации автора. Гвардейский офицер был настроен официозно-монархически. В 1837–1839 гг. он создает обширную поэму о пожаре Зимнего дворца, преисполненную верноподданнических чувств; официальным пафосом насыщены и его стихи «К колонне Александра I» (1839). Во всем этом ощущается осознанная позиция. Автор внимательно следит за современной ему литературой и журналистикой: в его сборнике мы находим целый ряд откликов на культурные события времени. В этом-то сборнике он и помещает несколько стихотворений, посвященных памяти Пушкина.

Пушкин занимает исключительное место в сознании нашего поэта. На первой же странице он записывает четверостишие «К гению» (с пометой «1837 года Генваря 30-е. С. П.<етербург>»):

> Он расцветал в садах Лицея,
> Свидетель славы — был Кавказ;
> В Москве женился, стал слабее,
> Поэт в историке погас[26].

Четверостишие очень характерно. Оно пишется как эпитафия — на следующий день после смерти Пушкина — и резюмирует его творческий путь в духе широко распространенной в 1830-е годы концепции затухания его творчества. При всем том Пушкин остается для него «гением», и начинает он эпитафию с парафразы пушкинских стихов, впрочем, также становящейся уже общим местом: и А. И. Полежаев («Венок на гроб Пушкина», 1837), и С. И. Стромилов («Пушкин», 1837) включают ее в свои надгробные стихи[27]. Через неделю — 7 февраля — из-под пера неизвестного автора выливается уже целый цикл стихов о Пушкине. И содержание их, и хронология представляют немалый интерес.

К этому времени в поле зрения нашего автора было уже некоторое количество изустных сведений о дуэли и смерти Пушкина, печатные извещения (в том числе знаменитый некролог в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» от 30 января: «Солнце нашей поэзии закатилось…») и иные источники, о которых сказано ниже. Слухами о подробностях дуэли был полон Петербург; не исключено, что неизвестный нам поэт побывал и на квартире Пушкина или на отпевании 1 февраля, куда собрался весь мыслящий Петербург. Во всяком случае и в «Думе на смерть П<уш-кин>а», и в дополняющем ее «Отдельном отрывке» мы находим следы петербургских толков. Иной раз источники прямо цитируются: «Так, наше солнце закатилось! Так, луч поэзии погас!». В других случаях сообщаются детали, восходящие к рассказам ближайших друзей Пушкина: о жестоких предсмертных страданиях поэта, заставлявших его желать скорейшей кончины, — об этом много позднее писали А. И. Тургенев и В. И. Даль[28]. Неожиданной выглядит лишь осведомленность нашего автора в том, что касается места погребения Пушкина: оно совершилось 6 февраля, а уже на следующий день он подробно описывает местонахождение могилы — «в Святогорском монастыре, неподалеку от его (Пушкина — *В. В.*) деревни, там же погребена и родительница его, — и это место было им самим избрано». Он упоминает и «Святой Горы песок отрадный», и в этом замечании, сделанном вскользь, ощущается след непосредственных зрительных впечатлений. Нет сомнений, что могилу Н. О. Пушкиной он видел сам, посетив Святогорский монастырь в промежуток между апрелем 1836 и январем 1837 г., и, видимо, тогда же узнал, что Пушкин купил соседнее место для себя; может быть, он слышал и о том, что Пушкин хвалил сухую и песчаную землю[29]. 1 марта 1838 г. датирована в рассматриваемой тетради «Элегия», где прямо описывается Святогорский монастырь:

Высокий курган — на нем храм со крестом,
Зовется Святой он Горою!

Такая осведомленность перестанет быть удивительной, если мы вспомним, что автор происходил из Новгородской губернии. Берега Волхова он называет своими родными местами («Мысли на берегах Волхова»); под одним из его стихотворений («Прости») стоит помета: «Званка 1837. Сент. 11».

Таковы реалии стихотворения, небезынтересные уже сами по себе. Но ими не исчерпывается историко-литературное значение стихотворения. «Дума на смерть П<ушкин>а» является одним из самых ранних (если не самым ранним) поэтических откликов на лермонтовскую «Смерть поэта». Сравним отдельные строки обоих произведений:

«ДУМА НА СМЕРТЬ П<УШКИН>А»

[Потерянный во мненьи света]
[Играя славою чужой]
Он поднял руку на поэта
Свершил удар…
Погас! и смолкли дивны звуки;
Не взвеселит он больше нас
Кто дивный светоч был для нас

«СМЕРТЬ ПОЭТА»

Восстал он против мнений света
Не мог щадить он нашей славы
На что он руку поднимал!
Навел удар…
Замолкли звуки чудных песен
Не раздаваться им опять
Угас, как светоч, дивный гений

Строки из «Смерти поэта» входят, таким образом, в число опорных заимствованных формул, на которых строится стихотворение неизвестного поэта. Принципиальный смысл их,

однако, изменился, и самый образ Пушкина в восприятии этого автора не только не тождествен лермонтовскому, но противоположен ему. В «Думе на смерть П<ушкин>а» социальный смысл конфликта снят; он перенесен в плоскость национальную. И здесь нам приходится обратить внимание на другой ряд поэтических ассоциаций — уже со стихами Пушкина:

«ДУМА НА СМЕРТЬ П<УШКИН>А»

Он равным зрел неравный бой
Да будет тих величья сон

ПУШКИН

И равен был неравный бой
«Бородинская годовщина»
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон
«Перед гробницею святой»

«Отдельный отрывок» и «Врагам всего, что русским мило…», проясняющие окончательно концепцию «Думы на смерть П<ушкин>а», являются прямой парафразой стихов «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины». Итак, в поэтическом сознании автора прежде всего «антифранцузские» стихи Пушкина, понятые прямолинейно и примитивно, в духе «официальной народности» и официального патриотизма. Пушкин рассматривается как жертва «клеветников, врагов России», «гнездо» которых есть средоточие мятежей против законной легитимной власти. Здесь монархические чувства неизвестного автора разыгрываются до такой степени, что он прямо начинает угрожать Франции разорением, которое должно совершиться под эгидой имени Пушкина. Чудовищность этой идеи, впрочем, кажется, заставляет его остановиться и дописать к своим стихам примирительный «постскриптум», где непосредственный виновник гибели Пушкина Дантес отделен от нации в целом.

Перед нами, таким образом, случай ярко официозного освещения социальной трагедии, и он весьма интересен, так как

обращает наше внимание на некоторые особенности создавшейся в 1837 г. общественной ситуации. Известны донесения Либермана, сообщавшего прусскому двору об антифранцузских настроениях, проявившихся, в частности, во время похорон Пушкина, и анонимные письма этого же времени, обвинявшие в гибели поэта иностранцев[30]. Эти настроения встречали негласную поддержку при русском дворе, резко отрицательно настроенном к французской парламентской системе и к правительству Луи-Филиппа. Стихи гвардейского поэта были их подчеркнутым выражением; они не могли бы быть допущены к печати из дипломатических соображений, но ни в коей мере не могли стать предметом политического преследования. И здесь достойно внимания, что официозно настроенный поэт неожиданно берет себе в союзники Лермонтова. «Смерть поэта» — разумеется, без последних 16 строк, еще не существовавших к 7 февраля 1837 г., — он рассматривает как отражение той же, близкой ему, «антифранцузской» точки зрения. Это, конечно, аберрация, но легко объяснимая, и она проливает свет на парадоксальные на первый взгляд особенности цензурной истории стихотворения Лермонтова. А. Н. Муравьев вспоминал, что «бурю» против Лермонтова вызвала последняя строфа; в остальной же части стихотворения ни он, ни А. Н. Мордвинов, ни Бенкендорф не нашли «ничего предосудительного»[31]. Заключительные 16 строк проясняли адрес лермонтовской инвективы; без них стихотворение можно было при желании трактовать в почти официозном духе, как это сделал неизвестный нам поэт. Любопытно, что С. А. Раевский в своем «Объяснении» по поводу этих стихов прямо пытался навести власти на такое толкование, подчеркивая, что они направлены против «иностранцев», не подлежащих русскому суду; он обращал внимание на патриотические настроения Лермонтова и в доказательство приводил его стихи «Опять народные витии…» — подражание стихотворению Пушкина «Клеветникам России»[32].

Следы подобной трактовки мы улавливаем и позже; при этом важно отметить, что сам Лермонтов ее учитывает и недвусмысленно противодействует ее распространению. В декабре 1839 г. секретарь французского посольства барон д'Андрэ от имени посла де Баранта осведомляется у А. И. Тургенева: «… правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?». Лермонтов спешит сообщить Тургеневу точный текст, из которого оказывается, что «он и не думал поносить французскую нацию». Этот эпизод разыгрывается в напряженный момент франко-русских отношений и накладывает отпечаток на всю историю

дуэли Лермонтова с сыном Баранта. «Заключительной репликой» этого спора, по удачному выражению Э. Г. Герштейн[33], было «Последнее новоселье» Лермонтова — по общему мнению, стихи «антифранцузские», в которых, однако, автор, как будто предупреждая подобное толкование, ставит один очень важный и симптоматичный «пушкинский» акцент:

> Сказать мне хочется великому народу:
> Ты жалкий и пустой народ.

Резкая характеристика относится к буржуазной «толпе», «растоптавшей в пыли» национальную славу, и она требует объяснений и обоснований («Ты жалок потому…» и т. д.). «Великий народ» — историческая характеристика, атрибутивно присущая нации в целом. Здесь совершенно тот же ход мысли, что и в пушкинской статье «Последний из свойственников Иоанны д'Арк»: «Жалкий век! Жалкий народ!»[34].

Таковы проблемы, которые ставит перед нами новонайденный текст[35].

Приложение

Б. М. Федоров

<З. И. Юсуповой>

Восторгом мысль моя согрета:
Вы были дивный идеал,
Когда любимого Поэта
Ваш голос славу защищал.

Ценя и мысль, и выраженье,
И чувства пламенной мечты,
Вы сами были вдохновенье
И чистый гений красоты.

Хоть мимолетно Вы касались
Струн лиры Пушкина златой,
Их звуки в сердце отзывались,
Чаруя, властвуя душой.

Вот лучший лавр его могилы.
О, если б он услышать мог,
Кто был его защитник милый,
Покров бы смертный он расторг…

Он возвратился б снова миру;
Душою Гений не угас;
Но Вам бы — посвятил он лиру,
И все звучал бы он — о Вас!..

Е. П. Зайцевский

Памяти Пушкина

Тебя с надгробным отпеваньем
Не проводил к усопшим я,

Последним смертным целованьем
Не целовал в уста тебя,
Твой гроб, омоченный слезами,
Не я в могилу опустил
И горстию земли с друзьями
Его с молитвой не прикрыл.
Под чуждым небом смерть Поэта
Оплакал одиноко я.
Носясь в сиянье славы света,
Да внемлет днесь мне тень твоя…
О Пушкин! Пушкин! Кто б пророком
Твоей кончины ранней был?
Тебя дух юности живил,
Во взоре голубом, глубоком
Играла жизнь избытком сил;
Как грива льва, власы кудрями
Струились темною волной,
Над величавой головой
Горел и вился гений твой,
Бессмертья окружен лучами.
И, сладкогласный лебедь, ты
В страны взносился неземные,
С своей воздушной высоты
Ты пел нам песни золотые.
Высоким, сладким пеньем сим
Россия в торжестве внимала
И с гордостью тебя своим
Любимым сыном называла.
Твой свежий лавр навек вплетен
В венец лавровый Николая,
Ты жил, нас славой покрывая,
Народом и царем почтен.
Ты вдохновенные искусства
Своею лирой освятил,
Нам выражал России чувства,
Поэтов русских князем был…
И вдруг, пришельцем безыменным,
Зашедшим к нам бродяг путем,
Принятым с лаской, накормленным
За радушным у нас столом,
Ты смертным поражен ударом…
И вот твои отрады, Русь!
Под черным гроба покрывалом
Схоронены навек…

О Русь!
Многих твоя уж правит тризна,
И каждый твой пришлец, как вран,
Питается от наших ран,
От ран и язв твоих, Отчизна!..

Я мысленно перед могилой
Твоей колени преклонил
И прах святой, России милый,
Слезами скорби оросил.
Моряк-солдат, я был поэтом,
Я лиру Пушкина любил,
И первый Пушкин перед светом
Меня от Муз благословил,
Нас всех увлек своим полетом…
Тебя уж нет для нас, поэт!
Мы в сиротстве остались грустном;
Но мой заряжен пистолет,
И на твоем убийце гнусном,
России мщением зажжен,
Он будет мною разряжен…

3-ий.

Триест.

Неизвестный автор

Дума на смерть П<ушкин>а

Великий Рим! ты в скорби час
Постиг, что́ Гения утрата,
Ты слезы лил, когда погас
Твой лебедь сладостный Торквато.
Ты б и теперь, великий, дал
Народу грустному десницу
И нашей скорби колесницу
Ты б с нами вместе провожал!

Главу ты гордую склонял

Пред тем, кто истинно был славен;
Везде талант ты ободрял
И мнил, что гений всюду равен.
Так, благородный гражданин!
Тебе совместны эти чувства,
И чтит душою славянин
Тебя, как колыбель искусства.

Но вы, упадшие душой,
Челом поникшие — разврату!
Вас веселит преступный бой,
Вы нашей тешитесь слезой;
Вы рукоплещете собрату —
Преступнику, кто сокрушил
Своей рукою дерзновенной
Кумир, для русского священный,
И Русь в унынье погрузил.

Убийца Гения, он мнил,
Что, стоя смерти на пороге,
Он не убийство совершил,
Коль жизнь его была в залоге.
Враждою сильной[36] пламенея,
Преступник[37] жертвовал собой
И в дикой ярости злодея
Он равным зрел — неравный бой!

Отринутый презреньем света[38],
Пришлец бесславный, всем чужой[39],
Он поднял руку на поэта
И, став при двери гробовой,
Свершил удар, — но рок ужасный
Ему отсрочил казни час,
Он жив — а лебедь наш прекрасный
В начале дней своих — погас!

Погас! и смолкли дивны звуки;
Не взвеселит он больше нас,
В нем заглушили песни муки,
И страшен был последний час!
«Как пальма, смятая грозою»,
Сокрыв страданье от людей,
Он лишь к друзьям взывал с мольбою
Слова последние: «скорей!».

Так, наше солнце закатилось!
Так, луч поэзии погас!
Того уж нет, кем
Русь гордилась,
Кто дивный светоч был для нас!
Чья песнь, как проповедь святая,
Пленяла русские сердца, —
Тем жизнь окончена земная;
Он в лоне мира и Творца.

Ликует смерть, похитив славу,
Убийца в ужасе стоит!
Объяла горесть всю державу —
И песнь надгробная звучит!
Могила свежая разрыта;
Земля, гордясь, готовит сень,
И, белым саваном покрыта,
Нисходит к ней святая тень.

Свершилось все: певец угас!
Он спит под сенью благодатной!
Да будет Меккою для нас
Святой Горы песок отрадный!![40]
Да будет тих величья сон, —
Как в час явления денницы
Заря осветит небосклон, —
Так светит луч его гробницы.

Туда зовет родная тень!
Туда душа моя несется!
И, мнится, там светлее день,
И сердце славою упьется!
Туда, туда!.. но не дерзнет
Стопа убийцы вслед за мною
Переступить святых ворот
И прах его омыть слезою!

Злодейству места с славой нет!!
Тобой там воздух заразится;
И под пятой завянет цвет,
И кровь святая задымится!!
Твой жребий — Каина удел!
Бежать тех мест, где злодеяньем

Ты положил себе предел
И осудил себя изгнаньем!

Беги, злодей! Терзай себя!
Здесь не взведут тебя на плаху!
Земля чуждается тебя —
И твоего не примет праха!
Да будет казнь тебе одно:
Багрить над грешным изголовьем
Твое кровавое пятно,
И всех проклятие — надгробьем!

1837 года февраля 7.

С. Петербург.

Врагам того, что русским мило…

Враги того, что русским мило!
Разгульный пир теперь у вас.
Вы мните: вот того могила,
Кто восставал грозой на нас,
Чей стих, как хартия завета,
Напомнил вечный наш позор;
Кто пел величье полусвета,
Тот, наконец, закрыл свой взор!

Пируй, мятежная семья!
Пей чашу дикого веселья!
Ликуй на грани бытия!..
Но жди кровавого похмелья:
Терпенью близится конец,
Блестит меч грозной Немезиды,
И скоро кровью мы обиды
Омоем в ярости сердец!

Тогда Его святая тень
Под небом Ф<ранции> явится,
Вас озарит кровавый день,
И месть ужасная свершится;
Полки славян вам пир дадут,
Родною тенью в бой ведомы,

Как вихрь, размечут ваши домы
И имя Ф<ранции> сотрут!
Тогда не мните договором
Отсрочить свой последний час!
Нет! договор мы чтем позором,
И нет пощады уж для вас!
Пощады злобе не даруем;
Мы будем мстить вам до конца
И пеплом градов отпируем
Мы тризну падшего Певца!..

1837. Апрель 15.

С. Петер<бург>.

P. S.

Омойте, буйные, с смиреньем
Пятно кровавое с себя
И смерть поэта с сожаленьем
Оплачьте, славу возлюбя,
А имя вашего собрата,
С негодованьем на устах,
Вы напишите в тех рядах,
Где пишут имя Герострата!
Тогда же.

Отдельный отрывок

Беги заслуженных оков:
Их яд костей твоих не сгложет,
Тебе гнездо бунтовщиков
Еще убежищем быть может!
Не унывай: злодейству есть
Приют в стране той отдаленной,
Где в каждом сердце — злая месть,
А чести огнь погас священный!

Сыны порока не устали
Там друг на друга восставать;
Отцы их детям завещали

Мятеж всегдашний возжигать;
Как предрассудок, видеть веру,
Пренебрегать закон святой;
И кто чуждался их примера,
Тех поносить злой клеветой.

Но клеветы мы презрим жало,
Над нами светит та ж заря,
При коей Русь на вас восстала
По манью сильного царя!..
Все та же Русь!.. Европа знает, —
И вас уверить в том пора,
Что днесь Владыку осеняет
Величье дивного Петра.

1837. Февра<ля> 7-го.

С. Петербург.

notes

Примечания

1

Печатается по изданию: Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л.: Наука, 1979. С. 46–64.

2

См.: *Никитенко А. В.* Дневник. Т. I. М., 1955. С. 195 (запись от 31 января 1837 г.). Отношение С. С. Уварова гр. С. Г. Строганову от 1 февраля 1837 г. см.: Щукинский сборник. Вып. 1. М., 1902. С. 298.

3

Текст этого стихотворения см.: *Каллаш В. В.* Русские поэты о Пушкине. М., 1899. С. 88. О цензурной истории стихотворения см.: Русская старина. 1880. № 7. С. 536; 1887. № 4. С. 250.

4

Свод данных о взаимоотношениях Пушкина и Б. М. Федорова см.: Пушкин. Письма последних лет. 1834–1837. Л., 1969. С. 479–480. Дополнения см.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 439–440.

5

См.: *Теплинский М. В.* И. Т. Лисенков и его литературные воспоминания // Русская литература. 1971. № 2. С. 111–112.

6

См.: *Баранов В. В.* Отклик А. И. Полежаева на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» // Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 486.

7

8 (20) июля 1841 г. А. И. Тургенев, прежний начальник Федорова по департаменту духовных дел и иностранных исповеданий и постоянный его покровитель, писал Вяземскому: «Жаль мне и княгини Юсуповой за Федорова. Он и ее, и Шишкова, и сына лишился в одно время» (Остафьевский архив. Т. IV. СПб., 1899. С. 141). 30 сентября 1842 г. Плетнев писал Я. К. Гроту о визите Федорова, который разжалобил его «скудостью в одеянии своем и рассказами про старуху Юсупову, которая ему помогала»; он принес Плетневу стихи, где «описал жизнь ее в виде волшебной сказки, назвав княгиню Виолеттой» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. I. СПб., 1896. С. 607).

Федоров Б. Кн. Б. Н. Юсупов. СПб., 1849.

9

Федоров Б. Легенда. Из преданий, записанных Шатобрианом (Йtudes Historiques, tome 4. Bataille de Poitier) (Графине З. И. Шово, маркизе де Серра). 1873. Ген<ва-ря> 29. — ИРЛИ, ф. 524, оп. 1, № 50, л. 35–36 об.

10

Там же. Л. 62. Эти стихи (печатающиеся под названием «Ответы на вопросы в игре, называемой „секретарь“») написаны около 1819 г. См.: *Жуковский В. А.* Стихотворения. Т. 2. Л., 1940 (Б-ка поэта. Большая серия). С. 251, 527 (комментарий Ц. Вольпе).

11

ИРЛИ, ф. 524, оп. 1, № 50, л. 72.

12

О хронологии занятий Жуковского пушкинскими рукописями см.: *Цявловский М. А.* «Посмертный обыск» у Пушкина // *Цявловский М. А.* Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 317–319. Из этой работы берем и дальнейшие сведения об истории рукописей, принадлежавших Жуковскому (см. С. 335, 341 (№ 7, 14, 16), 322–331).

13

Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937. С. 125–126.

Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. С. 321, 338, 341.

15

См.: Воспоминания Н. А. Марковича о встречах с Кюхельбекером в 1817–1820 гг. Публ. и коммент. Н. Г. Розенблюма. Предисловие А. А. Орловой // Литературное наследство. Т. 59. М., 1954. С. 501–512; А. А. Глинка в воспоминаниях современников. Под общ. ред. А. А. Орловой. М., 1955. С. 119–141; *Косачевская Е. М.* М. А. Балугьянский и Петербургский университет. Л., 1971. С. 162–164, 166, 171; *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. С. 240 (дополнительные сведения).

16

ИРЛИ, ф. 488, № 76, л. 11–12.

17

ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1016, л. 5–5 об.

18

См.: *Блинова Е. М.* «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830–1831. Указатель содержания. М., 1966. С. 56–57, 62, 154. Стихи Зайцевского и биографию его, написанную В. Н. Орловым, см.: Давыдов Денис. Полн. собр. стихотворений. Л., 1933 (Б-ка поэта. Большая серия). С. 189–217. Ср. также: Поэты 1820–1830-х годов. Т. 1. Л., 1972 (Б-ка поэта. Большая серия). С. 513–526.

19

См. письма его к Соболевскому из Милана 1832 г. (ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, № 3, л. 242–245), а также упоминания о нем в письмах Лемана Соболевскому того же 1832 г. (там же, л. 204 об., 211 об.).

20

ЦГАЛИ, ф. 177, оп. 1, № 217 («Три стихотворения Зайцевского, посвященные Долгорукому Д. И.»).

21

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 157; Русский архив. 1905. № 8. С. 607. Ср. совершенно такую же реакцию М. Орбелиани, о которой сообщал А. А. Бестужев-Марлинский брату 23 февраля 1837 г. (*Бестужев-Марлинский А. А.* Соч. в 2-х т. Т. II. М.; Л., 1958. С. 673–674).

22

ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, № 3, л. 242–245; № 11, л. 145 об. — 153.

23

Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. X. СПб., 1886. С. 27–28.

24

ГПБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, № 523 (письмо от 14 марта 1839 г.).

25

См. в собрании путевых реликвий Марковича афишу Большого театра в Триесте с датой 8 ноября 1857 г.: ИРЛИ, ф. 488, № 46, л. 65.

ИРЛИ, р. I, оп. 19, № 200.

27

См.: *Каллаш В. В.* Русские поэты о Пушкине. М., 1899. С. 73, 78.

28

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 230; Пушкин и его современники. Вып. VI. СПб., 1908. С. 55.

29

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 200, 196.

30

См.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. М.; Л., 1926. С. 384; *Поляков А. С.* О смерти Пушкина (по новым данным). Пб., 1922. С. 42.

31

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. [М.], 1972. С. 196.

32

Висковатый П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891. Прилож. IV. С. 12–13.

Герштейн Э. Дуэль Лермонтова с Барантом // Литературное наследство. Т. 45–46. М., 1947. С. 408 и след.

34

См.: *Герштейн Э.* Послесловие // Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977. С. 312.

35

Непосредственное отношение к Пушкину в анализируемой тетради имеет также стихотворение «И. А. К<рылову> (по случаю праздника 2 февраля 1838 г.)», написанное 3 марта 1838 г., где Пушкин упоминается наряду с Крыловым как вершинное явление современной поэзии. Эти стихи также не были напечатаны и не учтены в библиографии немногочисленных поэтических откликов на крыловский юбилей. См.: *Кеневич В.* Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 2-е изд. СПб., 1878. С. 323 и след.

36

Было: Преступной страстью

37

Было: Пришлец, — он

38

Было: а. Потерянный во мненьи света; б. Одна ль ступень была их света!..

Было: Играя славою чужой,

40

А. С. Пушкин погребен Псковской губернии <в> Святогорском монастыре, неподалеку от его деревни; там же погребена и родительница его, — и его место было им самим избрано. (*Примеч. автора*).